БОХАН П.А.

Одинокое молчание

Часто он глубоко погружался в созерцание самого себя, сидел, предавшись всем удивительным вещам в собственном теле, с закрытыми глазами, чувствовал, как во рту и в горле при глотании, при пении, при вдохе и выдохе возникает что-то необычное, какие-то ощущения и образы, так что и здесь в нем отзывались чувства тропы и врат, которыми душа может приникнуть к другой душе.

Герман Гессе. Ирис

Андрей заходит в кабинет, как обычно смущенно улыбается, глядя на меня, потом недовольно хмурится: за моей спиной он увидел незнакомого человека. Он подходит к стеллажу с игрушками, берет несколько машинок, выстраивает их в ряд, связывает шнурком, расставляет фигурки животных по машинам – так Андрей собирает поезд, это его ритуал. Андрей отступает в сторону, некоторое время любуется своим поездом, потом принимается выравнивать машины, поправлять фигурки. Всё это он делает молча, только с опаской бросает косой взгляд на незнакомого человека. Закончив с поездом, Андрей располагается за столом для занятий, повернувшись спиной ко мне и к незнакомому взрослому. Деловито подперев голову рукой, Андрей смотрит в окно. Он не намерен общаться и всем своим невозмутимым видом показывает, что чужому присутствию не рад. Однако как только незнакомец покидает кабинет, Андрей тут же спешит к двери, плотно ее закрывает, затем подходит ко мне, бьет меня по руке и, смеясь, убегает. «Бьешься!» – говорит Андрей. На месте ему трудно устоять и он слегка подпрыгивает весь в радостном ожидании: наверняка думает, что я буду его догонять. Я немного удивлен: Андрей произнес новое слово, к тому же раньше он меня не бил. Когда-то он боялся даже приблизиться; поздороваться за руку, даже посмотреть на меня, казалось, было для него делом немыслимым. Теперь бьет. Однако я рад, так как для Андрея это шаг вперед. Заниматься он не желает, скорее, настроен побегать по просторному кабинету.

Когда Андрей первый раз пришел на занятие, он так и не посмотрел на меня. Я подошел к нему, чтобы поздороваться, а Андрей отвернулся, не издав ни единого звука. Он прижался к маме и не отпускал ее. Андрею было почти шесть лет, он

не разговаривал и не понимал, казалось, ничего из обращенной речи.

С другими детьми Андрей не играл и всячески избегал любого взаимодействия, незнакомых взрослых боялся, воспитателей понимал с большим трудом. В группе детского сада он занимался тем, что коротал время, сидя на скамейке, посматривая на часы в ожидании прихода родителей.

* * *

В больнице, где Андрей проходил обследование, ему был поставлен диагноз элективный мутизм. Как мне кажется, это был несколько поспешный диагноз, если учесть, что речь у Андрея на момент обследования была совсем не развита. Андрея наблюдало много специалистов, и каждый выносил свое заключение, при этом никто не мог точно сказать, в чем причины его молчания. Непонимание Андреем обращенной речи специалистами, как правило, списывалось на интеллектуальную недостаточность. Отсутствие экспрессивной речи объяснялось или моторной алалией, или тяжелой формой дизартрии. Так или иначе, но особенностям избегающего поведения Андрея вряд ли уделялось должное внимание.

Взаимодействовать с Андреем было очень сложно: он вел себя неуверенно или, лучше сказать, никак себя не вел. Он ничего не говорил, не понимал вопросов, инструкции выполнял преимущественно те, что подкреплялись жестами, часто Андрей просто замирал и ни на что не реагировал.

Наше общение началось с того, что на одном из занятий я предложил Андрею несколько игр-вкладышей. Он знал эти игры, поэтому долго ему ничего объяснять не пришлось. Андрей складывал небольшую деревянную куклу, я сидел рядом и наблюдал за его действиями. Даже такое простое задание получалось у Андрея плохо, он делал много проб, прежде чем найти нужную ячейку. В какой-то момент мне захотелось помочь ему, и когда он приложил вкладыш к неподходящей ячейке, я попытался сказать:

– Ммм... не-е... – я так и не успел сказать Андрею, что он допустил ошибку, потому как он, к моему удивлению, промычал вслед за мной и, наверное, впервые посмотрел на меня. Затем он брал новый вкладыш, произвольно его прикладывал, при этом с любопытством поглядывал на меня, ожидая моей реакции. Я говорил Андрею «нет», если он делал что-то неправильно. Андрей несмело повторял что-то похожее на слово «нет», но ошибку не исправлял.

* * *

Со временем Андрей освоился, стал проявлять интерес к игрушкам. Однако загадочности в поведении Андрея меньше не становилось. Иногда он «погружался» в себя, и его невозможно было чем-нибудь привлечь. Андрей сидел за столом и не отзывался на свое имя, не обращал внимания на призывы поиграть во что-нибудь новое. К счастью, такие уходы всегда были непродолжительны по времени.

Трудно было выяснить, что же все-таки Андрей знает и насколько хорошо понимает то, что ему говорят. Главным, конечно, оставался вопрос о причине такого загадочного речевого нарушения. С одной стороны, избегающее поведение Андрея, его страх перед взрослыми, реакции замирания никак не способствовали развитию речи и навыков общения, с другой стороны, непонимание могло быть связано и с сенсорными трудностями.

На одном из занятий я предложил Андрею поиграть в футбол, благо просторный кабинет позволял это сделать.

ДЕТИ – ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

Эффект от игры превзошел все мои ожидания. Андрей играл с удовольствием, он уже не просто скромно улыбался, как это было раньше, а громко смеялся. Видно было, что игра пришлась ему по душе. Во время игры, к моему немалому удивлению, он начал повторять за мной слова. Это были простые слова («бей!», «мяч», «еще»), но Андрей их произносил.

После футбола или любой другой активной игры Андрей уже не был таким скованным, вел себя значительно смелее, повторял слова, иногда мог даже проявить инициативу, сказав неожиданно что-нибудь первый. На каждое следующее занятие он снова приходил зажатым, пугливо втягивал голову в плечи, ничего не говорил, глядел на меня, смущенно улыбаясь, и торопился скорее войти в кабинет. Приходилось тратить некоторое время, чтобы вновь привести Андрея в чувство, поэтому очередное занятие обязательно начиналось с какой-нибудь подвижной игры.

Нужно сказать, что с Андреем проще всего было взаимодействовать, включая его в подвижные игры, тем более он с удовольствием на это соглашался. Экспрессивная речь – тоже движение, и она постепенно пробуждалась вместе с возрастающей активностью Андрея. Если учесть, что в группе детского сада мальчик боялся себя как-то проявить, и мне выпала возможность в этом убедиться, то становится понятным, почему ему так нравились любые двигательные игры: ему просто не хватало столь необходимого, как и любому ребенку его возраста, движения и тех радостных эмоций, которые приносит шумная подвижная игра. Кстати, Андрей очень эмоциональный ребенок. Эмоций он не жалел и мог смеяться целое занятие, но как только он покидал пределы кабинета, то сразу становился серьезным, особенно, если в коридоре были посторонние люди.

* * *

– Это – машина, – я показывал Андрею грузовую машину.

– Машина, – повторил он.

– Это – поезд.

– Поезд, – повторил Андрей и начал возиться с поездом.

– Дай мне машину.

– Машина... – тихо сказал Андрей.

Я попросил снова:

– Дай машину, – при этом я вытянул руку, ожидая, что этот жест поможет Андрею понять, что я от него хочу. Однако Андрей продолжал катать поезд, словно не слыша моих слов. Он меня не понимал. После таких ситуаций, которые повторялась достаточно часто, возник вопрос о сенсорной алалии или, по крайней мере, некоторых трудностях понимания обращенной речи, связанных с сенсорной недостаточностью. Все-таки для шестилетнего ребенка непонимание простых инструкций при полностью сохранном слухе довольно странно и не может быть связано только лишь с его личностными особенностями, т.е. с нежеланием общаться. Очевидно, элективный мутизм был вторичен по отношению к тем речевым проблемам, которые испытывал Андрей.

Складывалось впечатление, что у Андрея просто не было достаточного опыта выстраивания связей между словом и смыслом и, соответственно, между словом и предметной реальностью. Когда же Андрей начал понимать и устанавливать эти связи, то они приобретали совершенно негибкий характер. Слова, которые Андрей запоминал, оставались неизменными. Когда он произносил какое-нибудь слово, то всегда только в усвоенной ранее форме, особенно это касалось интонации, которая практически не изменялась.

Как-то Андрей пришел на очередное занятие и начал в шутку покрикивать, посматривая в мою сторону. Вел себя Андрей уже достаточно смело, кричал он, возможно, открывая новые для себя впечатления. Андрей играл с машинами и покрикивал.

– Цыц! – вырвалось у меня совершенно случайно.

– Тыц, – повторил Андрей и захохотал.

Легко установив связь между собственным криком и новым словом, Андрей подошел ко мне и, уже глядя мне в лицо, громко прокричал. Я промолчал в ответ. Андрей закричал снова, мне пришлось ему поддаться и повторить слово, которое он хотел услышать. Андрей снова засмеялся и повторил: «Тыц!» Затем он довольный вернулся к машинам и еще долго бормотал: «Тыц, тыц...»

В другой раз, когда он закричал, я сказал: «Ш-ш-ш!..» Андрей тоже зашипел и повторил мой жест: как и я, он приложил указательный палец к губам. Потом он очень часто повторял это действие: кричал и сам себе говорил «ш-ш-ш!» Это одна из особенностей Андрея: он хорошо улавливал неречевые звуки и звуки с выраженной эмоциональной окраской, восклицания, которые он легко запоминал и охотно повторял.

Когда Андрей слушал детские песни, то пытался повторять слова, однако часто из-за быстрого песенного темпа он не успевал их улавливать, при этом ритм он чувствовал неплохо, постукивал ногой в такт музыке, напевал мелодию. Когда же я просил его похлопать вслед за мной, т. е. повторить простой ритмический рисунок, то здесь Андрей начинал испытывать трудности, он быстро отвлекался и допускал много ошибок. В целом любые движения по образцу он выполнял с трудом и без желания.

Как оказалось, Андрей, ко всему прочему, еще и левша, правда, это выяснилось тогда, когда он начал активно рисо-

вать. Многие другие действия он предпочитал выполнять правой рукой. Не исключено, что левшество могло повлиять и на развитие речи. Являлся ли Андрей «речевым левшой», сказать сложно, однако факт леворукости мог внести, как мне кажется, дополнительные сложности в процесс овладения Андреем речью.

* * *

Вскоре Андрей перестал воспринимать меня в качестве педагога, скорее видел меня как старшего товарища. Он своевольничал, не слушался, когда я предлагал ему очередное задание, особенно если оно было трудным. Когда Андрей отказывался заниматься, то всегда говорил мне: «Сядь посиди!» – это означало, что я не должен был подходить и вмешиваться в его игру. Мне приходилось некоторое время сидеть в стороне и наблюдать за его действиями.

Больше всего Андрею нравилось возиться с машинами в небольшой песочнице. Когда он играл с машинами, то мог что-то себе нашептывать, я прислушивался к его тихой речи, однако разобрать что-нибудь было сложно.

Еще Андрею нравилось собирать дом из конструктора, это он делал почти на каждом занятии. Дверь вновь построенного дома он обязательно «закрывал» на ключ и проверял, надежно ли она заперта. Это было важно для Андрея, так как он постоянно говорил, что дверь закрыта, и показывал мне, как он это сделал. Во время занятий Андрей часто пытался закрывать на ключ и дверь кабинета. К слову, тема закрытых дверей проявлялась и в рисунках Андрея. Он рисовал дома с огромными клубами дыма, выходившими из печной трубы и заполнявшими весь лист, а на каждой двери он обязательно рисовал значительно выделявшийся замок (*замочек*, как часто говорил Андрей). Желание закрыться, отгородиться от внешней пугающей действительности неслучайно, ведь долгое время у Андрея не было своего мира, где он мог бы быть в безопасности. Он был уязвим и наверняка чувствовал свою несостоятельность. Символически выражая в игре и рисунках потребность в защищенности, он, вероятно, находил ее, нарисовав дом и заперев его на ключ.

Андрей начал рисовать почти в семь лет. Рисование превратилось для него в настоящую страсть – раньше он интереса к этому виду деятельности совсем не проявлял. Рисовал Андрей всегда широкими, размашистыми движениями, сильно нажимая на карандаш или фломастер. Закончив один рисунок, он тут же брал чистый лист и продолжал рисовать, и мог рисовать целое занятие.

Он никому не позволял прикасаться к своим рисункам без разрешения. Это был его мир, вторгаться в который никому было нельзя. Когда Андрей рисовал у меня на занятиях, то каждый завершенный рисунок он аккуратно перекладывал на другой стол. Только тогда я мог взять рисунок в руки.

Тем не менее Андрею нравилось рисовать вместе со мной: он всегда один лист протягивал мне и жестами (как правило, он просто кивал головой) указывал на то, чтобы я рисовал. Так, мы сидели за одним столом и молча рисовали, каждый свое. Если же я вдруг ставил хотя бы точку на листе Андрея, он тут же принимался ее закрашивать, а потом дорисовывал что-нибудь так, чтобы и следа не осталось от поставленной точки. Вмешательства он не терпел. Андрей злился, если я мешал ему рисовать, он с силой вытягивал у меня из руки карандаши с криком «Отдай!», повторяя грозную интонацию взрослого. Я отдавал ему карандаши, он складывал их в коробку и продолжал рисовать как ни в чем не бывало. Стоило

мне протянуть руку к лотку с карандашами, как Андрей начинал возмущаться:

– Тихо, тихо!.. Отдай! – злился Андрей. – Ремнем, ремнем!.. Ща побью! – Нужно ли говорить, что всегда благодушному выражению лица Андрея совершенно не соответствовала эта нарочито строгая интонация, с которой он произносил «угрозы» в мой адрес.

Иногда Андрей с интересом наблюдал за тем, что рисовал я. Я рассказывал ему, как называется тот или иной предмет, который я рисовал. Андрей внимательно меня слушал. Он переносил в свой рисунок все то, что рисовал я, при этом называя все нарисованные предметы. Когда я прекращал рисовать, Андрей просил меня продолжить:

– Рисуй, рису-у-у-уй!

Конечно же я рисовал: это была хорошая возможность рассказать Андрею что-то новое.

Рисунки его изменялись с каждым днем. Андрея никто не учил рисовать: это было бы невозможно, и он схватывал все сам. Его первые рисунки, в которых едва ли можно было угадать форму изображенных предметов, были похожи скорее на рисунки двухлетнего ребенка. Однако уже через полтора года в его работах стали появляться элементы перспективы. За это время Андрей наверстал все не пройденные им раньше этапы в изобразительном творчестве. То же самое происходило в речевом развитии: от коротких невнятных слов, звукоподражаний он перешел к четко произносимым словам, а затем и к простым фразам.

* * *

Когда я думал о тех трудностях общения, которые испытывал Андрей, то связывал их с наличием страхов перед взрослыми и перед незнакомыми ситуациями. Один случай заставил меня посмотреть на положение по-другому и убедиться, что дело не только в фобиях. Как-то я захотел пригласить маму Андрея на занятие, чтобы она смогла увидеть изменения в его поведении. Однако не успела мама переступить порог кабинета, как Андрей в буквальном смысле начал выталкивать ее обратно. Увидев, что его усилия тщетны, он сам выбежал в коридор. В тот день у меня так и не получилось продемонстрировать его успехи, и все мои последующие попытки наталкивались на стойкое противостояние со стороны Андрея: свою маму он упорно отказывался впускать в кабинет. Очевидно, дело было не только в страхах, но в той особой важности, которую для Андрея приобрело собственное пространство, свой мир, в котором он мог бы быть таким, каким ему хотелось, ничего не боясь. Именно поэтому он не позволял прикасаться к собственным рисункам – это ведь часть его мира, который Андрей все смелее начинал защищать.

Андрею не нравилось, когда за ним наблюдали. Если в кабинете находился посторонний человек, он не просто прекращал разговаривать или смеяться, изменялось его поведение: бросал игру, если играл, оставлял любое занятие. Он застенчиво улыбался и упрямо не хотел отвечать на вопросы, и совершенно неважно было, что мальчик мог сидеть спиной к незнакомцу: он хорошо понимал, что на него смотрят. Собственно, в этом и проявлялся его элективный мутизм – избирательное молчание. В такие минуты Андрей действительно производил впечатление «ничего непонимающего» ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Однако стоило только стороннему наблюдателю покинуть кабинет, как Андрей «оживал»: он начинал смеяться, нашептывать слова, принимался за какую-нибудь игру.

Со временем Андрей начал играть с другими детьми, хотя и предпочитал

компании сверстников игры в одиночестве. Раньше он боялся детей. Они могли легко его обидеть, и Андрею приходилось молча терпеть все обиды.

После двух лет занятий и курсов лечения у Андрея значительно расширился словарь, он стал пользоваться простой фразой, улучшилось понимание обращенной речи. Кончено, его речь была аграмматична (он редко использовал предлоги, не всегда правильно согласовывал слова), и активный словарь все же не соответствовал словарю восьмилетнего ребенка. Однако ребенок разговаривал, и его можно было понять. Он мог выразить согласие с чем-либо или несогласие, ответить на простой вопрос, он здоровался и прощался. Для Андрея это было огромным достижением. Правда, разговаривал Андрей только с теми людьми, которым доверял.

Всякий раз, когда я слышал речь Андрея, возникало впечатление, что говорил он не на своем родном языке: настолько косно звучали его фразы, словно язык для него – это что-то действительно непостижимое, своеобразная другая реальность, к которой Андрей вынужден был приспосабливаться. Было заметно, каких усилий, прежде всего артикуляционных, стоила Андрею каждая осознанная фраза, к тому же, начиная разговор, ему приходилось одолевать и психологические барьеры – страх, смущение, в конце концов, столь привычный и простой для него уход в молчание.

Речь для Андрея не становилась естественным средством общения и выражения намерений, чувств, мыслей, средством связи с миром – словом, тем, в чем проявлялась бы его личность. Казалось, рисовать молча в одиночестве было для него более естественным, чем пытаться разговаривать, и совсем не было похоже, чтобы Андрей сколько-нибудь тяготился невозможностью речевого общения. Рисунками он мог выразить больше, чем словами.

* * *

В те же дни, что и Андрей, на занятия приходила шестилетняя Аня, и я часто их сравнивал. Так же как и Андрей, она молчала. У Ани был аутизм тяжелой формы, и отсутствие речи обусловлено совсем другими причинами. Аня, однако, в отличие от Андрея не избегала общения.

Как-то Анина мама спросила, будет ли Аня когда-нибудь разговаривать. Я ответил, что это скорее всего маловероятно. Тогда она рассказала, что очень часто видит во сне, как Аня с ней разговаривает. Эти слова как-то по-особому тронули меня: раньше я не думал о том, насколько глубоко родители могут переживать несостоятельность своего ребенка. Мне хотелось спросить, что же, собственно, говорит Аня в сновидениях, но я не решился. (Интересно, что мог бы рассказать Андрей в будущем о своем опыте молчания?). Может быть, Аня рассказывает маме о своих впечатлениях, а мама спрашивает у нее, как прошел день, может быть, она рассказывает о том, что успела узнать, чему научиться, пока молчала, или Аня рассказывает, прижавшись к маме, о том, как ей было одиноко в этом мире.